

Эти рассказы — начало большого цикла или даже романа в рассказах. Каждый можно читать в отдельности, и тем не менее они связаны общим сюжетом. Это вариант автобиографии, немного вымышленной, почти настоящей

КАК Я СИЛОЙ МЫСЛИ ОСТАНОВИЛ ВЕРТОЛЕТ

Мальчиком я верил, что сила мысли способна на многое. Ну, например. Я смотрел на звезды в августе и пытался силой мысли приблизить их. И мне казалось, что звезды становятся ближе. Я думал, что если очень-очень чего-то захотеть — это обязательно исполнится. Я вот очень хочу полететь к этим звездам, и обязательно полечу. Ну, если не ко всем, то к одной — точно. Мой папа — физик, он говорит, что это невозможно, что всей жизни не хватит на такой полет. А мама, учительница русского языка и литературы, говорит, что терпение и труд

все перетрут. И верю, если долго и упорно терпеть и трудиться, то можно не умирать и долететь куда хочешь.

Летом мы всегда уезжали к бабушке и дедушке, маминым папе и маме, в таежную деревню Курмач-Байгол. Это лето не стало исключением. Папа остался по делам в городе, а мы с мамой и маминой сестрой, и еще с двоюродным братом Пашкой, который был младше меня на два года, поехали.

О, это было самое желанное и увлекательное путешествие в году. Сначала все собирались-собирались, потом садились на вокзале в большой автобус, который сорок минут вез нас мимо кукурузных полей. А потом мы попадали в аэропорт. И там были самолеты и вертолеты, и их было видно через забор и огромные окна. И самолеты садились и взлетали. И мир этот волшебный. Потому что вот люди со всеми своими вещами сейчас тут, возле тебя, а потом — раз и они уже за сотни и тысячи километров, как на другой планете. И было интересно смотреть на них и думать: а куда они летят, а зачем они летят? Но еще интереснее лететь самому. Мы садились в Ан-2. Страшная и колдовская штука. Разговаривать невозможно, глухнешь моментально. Тошнит. Живот прикипает к позвоночнику в каждой воздушной яме, и хочется выйти наружу, а там, за бортом, в круглом иллюминаторе облака, поля, реки. И так полчаса, но зато потом ты уже в районном центре, в Турочаке.

Заходя на посадку, самолет делает желудковыворачивающий вираж вокруг горы Салоп, внизу блестит река Бия. Турочак тоже волшебное место. Тут на берегу Бии я и родился. Тут делают самый вкусный лимонад моего детства, тут самая вкусная и бесплатная горчица в придорожной столовой, тут сказочный терем — магазин игрушек, где можно с ума сойти от обилия пластмассовых солдатиков. И тут же, на краю села, аэропорт, а рядом гостиница, все деревянное, а взлетная полоса — простое ровное поле.

В тот год мы застряли в этом аэропорту. Лимонад выдохся, солдатика надоели, самолеты и вертолеты не летали. Каждое утро стоял непроницаемый туман, а после обеда шел проливной дождь. Во всей нашей автономной области Турочак — самое мокрое место. В тумане позвякивали колокольчиками, привязанными к шее, коровы, иногда показывалась рогатая морда, мелан-

холично жующая что-то, и снова исчезала в тумане. За забором аэропорта начинался лес. Вся земляника в нем съедена мною и Пашкой. Между взлетной полосой и аэропортом проходило шоссе, по которому медленно проезжали редкие автомобили. Внутри аэропорта стояли большие весы для багажа. Мы с Пашкой взвешивались ежечасно. Еще стоял большой бак с водой и краником, откуда мы брали воду. Мы срывали хвоинки и бросали их в лужи, и хвоинки, пуская реактивный след, носились по воде. Но за дней пять такой жизни нам наскучило все.

А в деревне нас ждали друзья, еще братья и сестры, ждали сенокос, катание на лошадях, костры с печеными кедровыми шишками, рыбалка и купание, бабушкин хлеб из печи, ночные посиделки, походы в кино и в сельскую библиотеку. Именно там при свете настоящей свечи я впервые прочитал «Мифы Древней Греции». И вообще там все было классным, волнующим — от щурят в старицах до эпидемии дизентерии.

И вот, наконец, туман чуть рассеялся, выглянуло солнышко. Ожидающие засуетились. Начальник аэропорта спускался с третьего этажа своего флигеля, возвышавшегося над одноэтажным аэропортом, и все пятнадцать человек отлетающих бросались к нему с вопросами.

Из города прибыл вертолет Ми-2, на котором мы и должны отправиться дальше, в село Курмач-Байгол. Собственно вертолет был почтовый. И брал пассажиров только, если почты было немного. А почты за пасмурные дни скопилось предостаточно.

Мы стоим за забором. Нас обдувает ветром лопастей. Летчик не глушит мотор, вытаскивает почту для Турочака, забирает почту из Турочака. Показывает один палец начальнику аэропорта. Начальник кивает и говорит нам, что пилот возьмет только одного пассажира, места в вертолете больше нет. Мама и тетя решают, что отправить надо Пашу, он младший, ему тяжело, а мы потерпим. Пашу с двумя сумками быстро проводят к вертолету. «Нет!» — кричу я. Это же совершенно неправильно! Это я должен лететь! Это меня ждут купание, рыбалка, лошади. Вы что? Не понимаете? При чем здесь мой брат Паша? Он домашний ребенок, ему все это не нужно! Он прекрасно сможет посидеть здесь, в тумане, еще пару деньков, а я не могу! Мне надо! Я рвусь за забор. Меня держат.

Я не могу ничего объяснить, слезы душат, да и гул стоит такой — ничего не разберешь. У меня одна надежда — на силу мысли. И я впиваюсь глазами в вертолет. Пилот захлопнул дверцу. Машина перешла на какой-то другой режим работы, шум усилился. У мамы красиво развеваются волосы. Она держит меня за плечи. Говорит, что погоду обещают хорошую, что мы улетим завтра. Плевать, мне надо здесь и сейчас! И я остановлю этот чертов вертолет.

Шум мотора переходит на запредельные частоты. Я тоже усиливаю свое воздействие. Я пожираю Ми-2 глазами, я обволакиваю его своим вниманием, я пригвождаю его к земле: «Нет, ты не взлетишь». Мысль может все, мысль сильна и безгранична. Никогда я так сильно и истово не верил во что-то, как в то, что эта машина не взлетит. «Стоять!» — кричал мой мозг, я крепко сжимал штaketник. Из сопел повалил сизый дымок. И я подумал, что победил! Но вот еще мгновение и вертолет тяжело завис над землей. Я усилил свое воздействие. Я должен был его посадить. Но вертолет накренился носом и полетел вперед, постепенно набирая высоту.

Я стоял ошарашенный и оглушенный. Мир рухнул. Мысль бессильна. Ничтожна. Желание не значит ничего. Я не смог остановить вертолет, а значит, все напрасно, я не полечу к звездам, я не смогу победить смерть. Все обман, и этот мир неуправляем. Откуда нам знать, что прямо сейчас под нами не начнется извержение вулкана? Только потому, что мы этого не хотим? Чушь! Отстаньте! Я пойду один, я уйду так далеко, где никто не помешает мне жалеть себя, которого злые силы забросили в заколдованный мир, где желания не исполняются, а мысль — это просто мысль, и ничего в ней чудесного нет.

Вертолет превратился в маленькую точку в небе. Дни детства пожухли, как листва при первых морозах, опали и исчезли. Не осталось от них ничего. Но редкие все же хранит память, и этот день с вертолетом — один из них. И стоит мне закрыть глаза, погрузиться в тот день, я слышу шум мотора, я вижу красивую машину на фоне потрясающей горы Салоп, которая стоит, возвышаясь до неба, вся в клочьях тумана. Я вижу живую маму, которая щурится от солнечного света и ветра в лицо. И синяя форма начальника аэропорта с золотыми нашивками перед глазами.

И вкус земляники во рту, и любопытная морда коровы, выходящей из леса. И вертолет-то никак не взлетает. То есть он взлетает, но потом, чудесным образом, снова стоит на земле, и снова в него садится брат Пашка. И снова я отчаянно реву. И вертолет надрывается, но не взлетает. Потому что моя мысль запечатлела все это во мне навсегда. Мысль привязала вертолет к земле. И этот день прикрепила ко мне. И, получается, я все-таки остановил мыслью вертолет, но как-то странно, внутри себя. Ох, ну и дела, однако!

ДЕВОЧЕК БИТЬ НЕЛЬЗЯ

Моему приемному сыну десять лет. Иногда он дерется с сестрой, которой семь. Мы разговариваем после каждого случая, иногда мне кажется, он меня понимает, соглашается, что да, это его родная сестра, она слабее, сколько бы раз она не показывала ему язык, сколько бы раз не называла «Богдан-баран, Богдан-барабан, Богдан-банан», бить ее нельзя. Но уже на следующий день он снова кричит: «Ну все! Ты меня достала! Сейчас я тебе всеку!» И приходится разводить брата с сестрой по разным концам дома и снова объяснять, кто они такие друг другу, и как нужно относиться к девочкам в частности, и к женщинам вообще, а более широко к человеку, можно ли человека щипать, щекотать, толкать, шлепать, хлестать и даже всекать, если он этого не очень хочет.

Может, дело в том, что в интернате они жили на разных этажах и виделись раз в полгода? Почему-то свидания, общение между братьями и сестрами распорядком заведения не были предусмотрены. А может, дело в том, раньше, в прежней семье, их били за дело и без дела, и они так привыкли? И психолог разговаривал, и мы с женой каждый день объясняем одно и то же с разными вариациями, но иногда все же слышим: «Ну все! Ты мне не сестра! Ты мне никто!» Шлепок. Плач. Крик. Угол. «Извините меня, я больше не буду, я понял, что никого бить нельзя, особенно девочек!»

Вспоминаю себя в его возрасте и раньше. Нет, я не дрался с девчонками. Ну бывали исключения. Вообще, я помню только

одно. Может, память меня щадит и что-то скрывает? В принципе, я был не драчун, псих, но не драчун. Единственный случай, который подсовывает память, произошел между мной и моей двоюродной сестрой Таней. И то, мы, строго говоря, не дрались, но вот силу я применил.

Так вот, дело было в деревне, возле турника сельской школы. Три двоюродных брата — Алёша, я и Паша — и сестра Таня, которая была младше нас на два-три года. Мы по очереди подтягиваемся на турнике. Естественно, деревенские Алёша и Паша сильнее и крепче, а я — городской слабак. После нас к турнику подходит Таня, и я прямо чувствую, что она сейчас подтянется больше, чем я. Это же непереносимый позор для пацана. И вот она подтягивается, а я ее толкаю: «А сможешь ли ты подтянуться при сильном ветре!» Поверьте, я до сих пор слышу свой идиотский смех, и гнев закипает внутри на самого себя. Таня падает в земляное пыльное вытоптанное под турником пятно. Она плачет, говорит, что сломала руку. А я: «Да вы что, пацаны, она же врет, притворяется, ничего она не сломала!» И я поворачиваюсь и иду один домой. Братья помогают сестре подняться. Мне страшно оглянуться, я говорю вслух: «Сама виновата!» А внутри все словно летит в пропасть. Я начинаю догадываться, что я за человек, вернее — человечиска. Дома паника, суета, взрослые охают, что-то говорят, я не слышу, я не помню, я ложусь на кровать лицом к стене. Прямо как мой приемный сын Богдан.

«Ах, если бы можно было все вернуть на десять минут назад, когда все было хорошо и у Тани не была сломана рука!» И жалко мне почему-то не сестру, а себя.

Что я бы сделал тогда, будь я сегодняшней отцом себя тогдашнего? Высек бы я себя ремнем? Ударил бы?

Бывало, меня воспитывали и ремнем, и прутиком, и хорошим шлепком. Редко, но бывало. И тут ведь могли. Но никто меня не тронул. Я лежал и лежал, и горько было невыносимо. А потом уснул.

А на следующий день продолжались каникулы. Таня две недели ходила с загипсованной рукой. Мы рыбачили, купались, сидели у костра, играли все вместе. Это было еще одно сказочное веселое лето, полное солнечных брызг, плавающих в воде змеек,

гальянов, пойманных руками в старицах, языков, фиолетовых от черемухи, лисичек, жареной молодой картошки и лошадей, которые ночами на большом поле смешно перекатывались с боку на бок кверху копытами. Никто не упрекал меня за сломанную Танину руку, ну, по крайней мере, я этого не помню.

Так вот, что же делать сейчас? Продолжать разговаривать, терпеливо и настойчиво, после каждой драки? А не будь того случая в моем детстве, понимал бы я сейчас моего сына? И какое же все-таки существо человек: тут в нем и любовь, и доброта, и прямо через стеночку — зависть, злость и обида, и уживаются же, и соседствуют десятилетиями. И будет ли Богдану когда-нибудь горько за то, что он делает сейчас, как стыдно до сих пор мне?

ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ

Был это класс второй, наверное. Глубокая зима. Темные глухие вечера сибирского областного центра. Мама, папа, я живем в общежитии, у нас одна комната, туалет и вода из крана в конце коридора. А на другом конце города бабушка с дедушкой, папины родители. У них сад, огород на берегу речки и баня. Мне казалось, мы приезжаем туда ночью, но это всего лишь декабрьский или январский вечер. Долго-долго едем на автобусе, потом идем пешком по узкой тропинке среди сугробов под редкими желтыми фонарями.

В бане мама поливает меня горячей водой и говорит: «С гуся вода, а с Сергея худоба». Потом, закутанного, ведут в дом, а там чай из стеклянных стаканов, не граненых, а таких расширяющихся кверху, бабушкины пироги и пышки. Под треск печи засыпаю. Будят, и снова сугробы, тропинка, фонари, но на этот раз мы идем не на остановку, а дальше, куда-то в сторону, к папиным друзьям.

Что там было? День рождения, какой-то праздник, но не Новый год, не 7 ноября, какой-то взрослый уютный, домашний праздник. Людей немного: хозяйева да мы, гости, но я никого не знаю, ни взрослых, ни двух хозяйских дочек. Одна старше меня на год-

два, а другая на год-два младше. Смотрят с прищуром, оценивая, а потом хихикают и убегают. Родители просят их занять меня чем-нибудь. Квартира большая. Взрослые где-то далеко на кухне или в еще одной комнате, их почти не слышно (что это за праздник такой был? Без музыки, без песен, а может, было поздно?).

Мы располагаемся в детской комнате, тут две кровати девочек, шкаф, полки, столы, ну и всякие девчачьи ненужности мальчишке советскому безразличные. Одна комната ведет в коридор и на кухню к взрослым, другая в зал, где темно, там до потолка полки с книгами, телевизор, кресла (и почему взрослые не сидят там?) В девчачьей детской горит одна настольная лампа. Свет ее почти направлен на меня, стоящего посреди комнаты. Старшая полулежит на кровати спиной к свету, младшая полустоит рядом. Они оценивают меня, и длится это почти бесконечно.

— А давайте поиграем, — с прищуром говорит старшая.

Ну какие игры вы, девчонки, мне можете предложить? Да еще тут, в царстве кос, бантиков и прочих финтифлюшек? Ни солдатиков, ни танков, ни самолетов у вас нет. Конструктор? Вряд ли.

И тут я все же решаюсь и смотрю в глаза этой маленькой хозяйке. У нее челка, у нее хитрые глаза, у нее гладкая кожа, у нее губы красные. Я вообще раньше не замечал, что у девочек красные губы. И что у них такие платья, и такие колготки. Что за ерунда? Я в том возрасте, когда ничто не заставит меня признаться, что девочка мне нравится, тем более признаться самому себе. Вторая, младшая, похожая на сестру, только волосы светлее, и больше детского, неинтересного в чертах.

— А давайте поиграем в светофор!

— Какой еще светофор?

— Ну очень же простая игра! Мы с (имя улетучилось, рассеялось во времени как дым) будем загадывать цвета. Например (пусть будет Аня), допустим, Аня будет зеленый, а я — красный. Но вы этого знать не будете. И мы вас такие спрашиваем: «Какой цвет выбираете: зеленый или красный?»

— Красный.

— Да погодите вы, вы же не знаете, что будет потом. А потом, ну, к примеру, если вы выбрали красный, то вы целуетесь со мной.

Аня хихикнула, но потом посмотрела на серьезную сестру и зажала рот ладошкой.

— А если вы выбрали зеленый, то целуете Аню. Хотя ее, если честно, целовать совсем неинтересно, она еще маленькая.

— Маша (пусть будет Маша), — сказала Аня, а давай еще добавим один цвет, ну желтый, и если будет желтый, тогда он будет целоваться со шкафом или с лампой, — младшей сестре показалось это очень забавным, и она опять рассмеялась.

— Хорошо, — сказала Маша. — А потом мы будем меняться, после вас будет угадывать Аня, а потом я.

Я не могу уйти, взрослые бы отправили меня обратно к девчонкам. Я не могу собрать свои вещи и самостоятельно отправиться домой по ночному городу. Мысль просто сесть в уголок и открыть какой-нибудь журнал, которых в детской было множество, тоже не приходила мне.

— Хорошо, — сорвавшимся голосом согласился я.

Первый раз мне выпало целоваться с диваном. Невкусно, пыльно. Девчонкам было смешно. Сердце замирало: что же будет дальше? Я чувствовал, что это что-то нереальное со мной происходит, как в сказке или во сне. А раз это не настоящее, а сказочное, то пускай.

Теперь угадывала Аня. Она угадала мой цвет. Аня хихикала, но не подходила ко мне.

— Ну! — строго сказала Маша. Ноги мои стали каменными, я просто не мог сойти с места, даже если бы захотел.

— Я выключу свет, чтобы вы не стеснялись, — сказала Маша. Комнату затопила тьма. Дышать стало трудно. Что-то коснулось моей щеки, легкое, но плотное, как стирательная резинка. Свет ослепил, глаза заслезились.

Маша угадала Аню. Сестры быстро чмокнулись, и душераздирающая игра продолжилась.

Мне выпало целоваться с холодильником. Я подозревал, что сестры играли нечестно, они хохотали, Аня заливисто и долго, Маша сдержанно и с волнующей усмешкой. Холодильник холодный и безразличный (кстати, почему он был в детской?).

Аня угадала меня. Я прикоснулся к ее щеке. Совершенно по-братски. Я уже освоился, все-таки практика на диване и холо-

дильнике давала о себе знать. После поцелуя мы оба рассмеялись.

Маша тоже угадала мой цвет. Маша сказала сестре: «Мы будем целоваться в зале, и не подглядывать! А еще следи, чтобы нам никто не помешал!»

Мы прошли в двустворчатые белые двери в зал, сюда попадал только неверный свет из далекой кухни, было темно, но глаза постепенно привыкали. Хотя, что я мог видеть? Я же зажмурился. Горячее, плотное, чужое вдавилось в мои губы. Она могла просто прикоснуться ко мне пальцами, и я принял бы это за ее губы. Я же никогда до этого не целовался! Я открыл глаза, в зале уже никого не было, Маша уже проскользнула в детскую.

Дальше меня, а я надеюсь, что не только меня (иначе как-то обидно и немного не так волшебно), нас охватила лихорадка. Мы спешили быстрее угадать цвет друг друга. Да, было смешно, когда приходилось целовать книгу или руку (руки они тоже загадывали). С Аней мы привычно тыкались в щеки друг друга. И Аня обязательно хихикала. А когда выпадало целоваться с Машей, она брала меня за руку и вела в зал, плотно закрывала двери. В какой-то момент я не зажмурился, я увидел блестящие в темноте озорные глаза. И еще и руки легли мне на плечи. Темнота плыла и качалась, мне не хватало дыхания, внутри было так тепло и так приятно, как бывает только в хорошем-хорошем сне. Я хотел сказать «мамочки», но тоже не мог, потому что Машины губы перекрывали дыхание. Мы задыхались, были, как сумасшедшие, одержимые, мы подолгу не выходили из темного зала, а когда возвращались, прятали от Ани глаза. А Аня уже не хихикала, а как-то особенно грустно и тихо улыбалась.

А потом все закончилось, родители засобирались домой. И снова мы стояли в прихожей, а хозяева и две сестры нас провожали. И я теперь прямо смотрел в глаза Маши, а она так же, как вначале, щурилась и что-то там себе воображала. Мы ехали в автобусе, а губы болели, и если бы не слабое освещение улиц, то, наверное, можно было заметить, как они распухли и налились алым цветом.

Волшебнее, приятнее, загадочнее этого воспоминания мне трудно что-либо отыскать в своем детстве. Больше я этих фей не видел. Также непонятно почему? Почему мы не ходили больше

к ним в гости, почему они не приходили к нам? А может быть, это и хорошо, зато у меня осталось вот это светлое воспоминание, не осложненное ни глубокими страстями, ни разлуками, ни ревностью, ни какими-то еще всякими взрослыми штучками.

Я потом не целовался до класса десятого. Что это было такое, что за нечаянный островок среди абсолютно мальчишеского детства? И спасибо, милые сестры, за этот подарок судьбы, неизвестно как на меня свалившийся, неизвестно зачем отпечатавшийся в душе навсегда.

ЭЛЕКТРОШОК

Редкие и удивительные вещи порой происходят. В окрестностях Горно-Алтайска в детстве я видел оленя. Довольно близко и довольно долго за ним наблюдал. В юности, возвращаясь домой, зимней ночью, в парке возле кинотеатра «Голубой Алтай», наткнулся на полярную сову. Она смотрела на меня, белая и большая, а потом, тяжело оттолкнувшись от ветки, улетела. Однажды летом я шел по горе, внизу светился ночной Горно-Алтайск, а в траве загорались один за другим желто-зеленые огоньки. Раньше я никогда не видел светлячков, только в книжках читал про них. А тут была целая поляна. Вверху звезды, внизу светлячки, а дальше и еще ниже, в долине, город.

Наша семья и семья Перминовых дружили. В тот раз отмечался какой-то общий праздник. За окном тихая зимняя ночь. В соседней большой комнате взрослые сидят за большим столом, у них звучит музыка с катушечного магнитофона, сверкает самодельная светомузыка. Светомузыка сделана самим хозяином. Они с папой учились на физмате. А я с сыном Перминовых — Олежкой — играю на кухне. Дом старый, многоквартирный, деревянный. В каждой квартире беленая печь. Столы, стулья, шкафчики на стенах, всякий советский скарб. Мы находим старые наушники (вот оно богатство инженера-любителя). Из них торчат какие-то проводки, но на маленькой моей голове они сидят ладно. Вот так игрушка! Можно представить себя летчиком! Можно —

радиостом! Подводником! И тут я нахожу детскую флейту. Я даю ее в руке Олежке, говорю: «Играй!» Он играет, а я представляю себя звукорежиссером. Отлично!

Но чего-то не хватает! У наушников есть вилка на метровом проводе. А если есть вилка, то ее обязательно надо воткнуть в розетку. А для чего же она еще?! Но розеток на кухне нет. Поиски безуспешны. Но тут я понимаю, передо мной стоит холодильник. Холодильник работает, значит, где-то есть розетка. И точно! Мы немножко отодвигаем холодильник, ненадолго отключаем его. И вот он, торжественный момент! Сейчас я услышу небесную музыку. «Играй, Олежка!» Олег раздувает щеки и пыхтит в неработающую флейту. Ничего, немного электричества и да будет звук! Я уверенно втыкаю вилку в розетку. Слышится треск, меня словно кто-то бьет молотком по голове, я еще успеваю подумать: «Зачем это Олег ударил меня флейтой?» Перед глазами проскакивает молния. Подчеркиваю, это была не искра, не дуга, а именно нечто ветвистое и бело-голубое, и как будто это произошло не вне меня, а внутри. Ну представьте, что вы стоите и смотрите в окно, а молния вдруг сверкает не за окном далеко, а внутри комнаты. Почувствовали, хотя бы приблизительно? А теперь еще раз осознайте, это произошло реально: в моих глазах промелькнула молния, но не вне меня, а внутри.

Мышцы мгновенно свело судорогой, шея резко откинулась назад (как не сломалась), короткий (слава богу) провод натянулся и вылетел с вилкой из розетки, наушники соскочили с головы и перелетели через всю кухню, загремев где-то в ведре. Я прекрасно слышал музыку в соседней комнате, я видел мелькание цветных огней. Олег стоял с разинутым ртом. Все было по-прежнему, но меня будто не было. То есть я был другой. Я вдруг понял что натворил, понял, что мог запросто умереть. И вот тут мне стало очень-очень страшно. Я вскочил и побежал в комнату, где танцевали взрослые, с криком: «Мама! Папа! Я оглох!» При этом я прекрасно слышал, что кричу. Ну дальше суета, охи, вздохи, слезы, допрос Олежки, смех облегчения, теоретические рассуждения физиков о возможных последствиях. Но мне это было уже не интересно. Несколько капель крови вытекло из моего уха. И тут я умер...

Так хотелось мне написать для красивого словца. Но ничего подобного. Слух остался цел, как и все остальное, на мочке уха осталась царапина. А голова, как говорил герой Леонида Броневского, предмет темный и исследованию не подлежит. Так было в советское время и в провинциальной медицине.

Много позже я узнал, что электрошок применяли для лечения душевнобольных. Я хорошо помню, как смотрел первый раз «Полет над гнездом кукушки», тот момент, когда героя Джека Николсона привозят на процедуру лечения током, пропускают его через голову. И там тоже используют наушники. Одно дело сопереживать герою, представляя его мучения, другое дело — знать что он чувствует.

Не знаю насколько повлиял этот удар током на мою жизнь. Лишил ли он меня каких-то воспоминаний детства, способностей, возможностей, или, наоборот, что-то прибавил. По крайней мере, границы опыта расширил, но никому не желаю такой опыт повторить. Живите осторожно, думайте, прежде чем засунуть вилку в розетку, может быть — провода от этой вилки идут к вашей голове... и на них нет изоляции.

ПЕРВАЯ

Я был очень влюбчивый мальчик. Достаточно было какого-то особого освещения, дуновения встречного ветерка, и я уже готов был бежать навстречу, все бросить, отдавшись порыву. И на этом пути меня, конечно, поджидали всякие неприятности, прямо как котенка по имени Гав.

Первый раз я влюбился почти в бессознательном состоянии. Мне три года. Ее зовут Фрида. Она работает вместе с моей мамой в педагогическом училище. Я, конечно, помню ее не очень отчетливо. Но зато, позднее, я видел фотографию, сказать, что она красавица — ну ничего не сказать! Я прямо горд, что с первых шагов, не имея никакого опыта, вкуса и способностей к рефлексии, был сражен несравненным созданием.

Я помню какой-то кабинет, стол, множество журналов, книг, яркий свет из окна, и я сижу на кожаном черном диване (можно

строить какие угодно ассоциации, но он черный), а солнце просто слепит меня. Или я не могу поднять глаз на предмет своего обожания. Я говорю: «Фрида, моя Фрида», — и вздыхаю. Я хожу за нею повсюду. Она смеется. Между нами двадцать лет, а я даже таких цифр не знаю. Но я люблю и я любим. При этом я люблю и маму, но, как вы понимаете, это же совсем другое! Когда мама идет на работу, я прошусь пойти с нею при каждом удобном случае, чтобы увидеть Фриду.

Однажды мама спрашивает: «Фрида пригласила меня в гости, пойдешь со мной?» Дааа! Я просто счастлив. Скоро, очень скоро я найду способ быстро вырасти, и мы с Фридой поженимся! А сейчас я снова увижу ее. И сердце сладко замирает, прямо от макушки до пяток какая-то струна наслаждения натягивается внутри меня и дрожит от волнующего напряжения.

У Фриды частный дом. В большой комнате телевизор. Идет мультяк «Как казаки невест выручали». А мне не до мультяка. Фрида зовет пить чай. А там, на кухне, какие-то два мальчишка, такого же возраста, как я. Меня знакомят, но я ничего не слышу и не запоминаю, меня оглушила новость: это сыновья моей Фриды. Мне три года, я не знаю что делают в таких случаях. Я отказываюсь от чая. Я смотрю «Казаков», но не смеюсь. С тех пор это самый грустный для меня мультфильм. Мне три года, а жизнь кончена. Я хмуро прощаюсь. У нее, наверное, и муж есть.

Спустя несколько дней мам спрашивает, пойду ли я с нею на работу, там будет Фрида. Нет, я лучше останусь дома.

Спустя много лет читаю я «Замок» знаменитого пражского немца. И встречается герою Фрида. И там что-то вроде любви. И история-то совсем про другое. А у меня Фрида Кафки накладывается на Фриду из детства. Это очень странное чувство. Наверное, когда в раннем детстве сознание и осознание только просыпаются, многое в окружающем мире кажется абсурдным, искаженным, неправильным, хочется все время уловить ускользающий смысл происходящего, мозг тянется за этим смыслом и усиленно развивается, осваивая все новые слова и чувства. Так и в романе Кафки, все время что-то ускользает от тебя и от героя, кажется, идешь по твердой дороге, но ноги вязнут, как в болоте, все время происходит что-то не то или как-то не так, и мозг пы-

гается судорожно охватить все нюансы, факты и построить гармоничную картину мира, а не получается, поэтому приходится все время думать, проверять свои чувства, все время расти внутри. И, кто понимает, это колоссальное наслаждение для ума. Но и в жизни так же, просто мы привыкли к абсурду жизни, и он для нас «свой» и «понятный», мы защищены привычкой, от острого переживания происходящего. Но только не в детстве.

Господи, я же просто хотел рассказать первую историю любви, но, простите, увлекся.

НАДЕЖДА

До одиннадцатого класса ничего серьезного между мной и девушками не происходило. Ну таскал я портфель рыжей кудрявой Наташе, да только потому, что жили мы в одной стороне от школы. И по какой-то удивительной асимметрии больше никто из нашего класса в этой стороне не жил. Но с Наташкой мы только глотали мороженое в несметных количествах, болтали о том о сем, и все. У Наташки был жених-«де-сантник», парень, который занимался в военно-патриотическом клубе. Были еще девушки, которые мне нравились, я делал какие-то глупые шаги, вроде цветов на 8 Марта, грустных вздохов возле объекта обожания и долгих пристальных взглядов на переменах.

А потом я попал к коммунарам. Было такое движение на закате СССР, последователи некоего педагога Ильина, что-то вроде попытки реанимировать комсомол. Но коммунистического в этих коммунарах было мало. Скорее, это был такой дискуссионно-творческий клуб. Мы собирались вечерами в здании горисполкома, обсуждали актуальные темы «Любовь между советскими мальчиками и девочками» или «Что делать с родителями, если они совсем отбились от рук и несут всякий бред», проводили всякие концерты, ездили как агитбригада выступать в селах с культурной программой, попутно неся доброе, вечное и идеологически верное.

Все собрания проходили в кругу, каждому давалось слово по очереди, а в завершение всего пелись песни, вроде таких «Вот идет по свету человек-чудак, Сам себе печально улыбаясь, В голове его какой-нибудь пустяк, С сердцем, видно, что-нибудь не так...» или «Там, впереди, у тебя идут другие дожди, Их никогда позабыть не в силах сердце...», ну и да, вот это обязательно: «Ты представь, будто я — Ассоль, Ну а я — капитан Грей, Будь сладка нам, морская соль, От нее станем мы добрей...» Прошло столько лет, а я помню слова! Коммунарское прошлое вьелось в меня гораздо сильнее, чем вся пионерия и комсомолия. Коммунары держали слово, не врали, морщились от фразы «провести мероприятие», они говорили: «сделать дело». После завершения общих песен в кругу все говорили хором: «Доброй вам ночи, ребята-орлята! Доброй вам ночи, девчата-орлята! Завтра нам снова в путь!»

На первом собрании я и увидел Надежду. Она была прекрасна, как океанский лайнер. Потому что двигалась так же грациозно и величественно, была совершенна, умна, с большой косой и светлыми глазами, в темной блузке и в темно-зеленой юбке в пол, прямо народоволка из учебника истории. Я смотрел и не мог оторваться, я просто любовался, а она улыбалась в ответ. Мы стояли в кругу напротив друг друга. А в следующий раз я умудрился встать с нею рядом, и когда все пели, обнявшись за плечи и талии, мне было очень приятно ощущать на спине ее руку, ну и самому держать в руке Надежду.

Крепкий хорошист, я не беспокоился об уроках, ибо положил себе за принцип (о, всегда хотел вернуть где-нибудь это выражение) делать их заранее, поэтому, несмотря на поздний час, вызвался проводить Надю. В ее сторону шла целая веселая компания. Надя взяла меня под руку (вот это да, все по-взрослому). Стояла зима, но даже сквозь плотное пальто я чувствовал ее тепло. Щеки покраснелись, глаза отражали свет фонарей. Постепенно все откальывались от нашей большой компании. И, наконец, мы остались одни. Большие улицы закончились, пошли кривые улочки частного сектора. Лаяли собаки, скрипел снег, я совершенно не знал, о чем нужно говорить. Попросил Надю написать мне слова песен, которые поют коммунары, а то все знают, а я нет. Надя пообещала. Она повела меня короткой дорогой по замерзшей реке. «А вот

и мой дом!» — сказала, не переставая улыбаться. Хотя было темно, но я чувствовал. «Хочу пригласить тебя на свидание», — замерзая не от внешнего, а от внутреннего холода сказал я. «Пригласи».

Интуитивно или в порыве вдохновения я выбрал верную тактику: говорить, что чувствуешь, не врать, не притворяться. И это сработало. На следующий день я мерз в ожидании у кинотеатра имени Горького. Я увидел ее издалека. Не знал, нужно ли было бежать ей навстречу или стоять на месте. Но ноги одеревенели и решили все за меня.

Я сказал, что никогда ничего подобного не чувствовал, что ни к кому, как к ней, меня так не тянуло, что мне хочется на нее смотреть, хочется быть с ней рядом все время, хочется слышать ее глубокий грудной, большой, как она сама, голос, и при этом мне не по себе от того, что я не могу управлять своими мыслями и чувствами, что я будто болен. «Будто болен» показалось Наде пошлостью. А «пошлость» это было в то время такое убийственное слово, сказать пошлость было позором. «Ну а как я должен был сказать? Сказал что пришло на ум!» Но, оказалось, даже обычное нужно уметь выражать необычно, в этом есть признак ума и вкуса. «А у меня нет вкуса», — сказал я с вызовом. «Ты читал «Мастера и Маргариту»? — спросила Надя. «Конечно, я читал». — «Понравилось?» — «Ну еще бы!» — «Тогда у тебя есть вкус». «Сомневаюсь, — упрямыствовал я, мне просто хотелось, чтобы она говорила, говорила и говорила, доказывала мне какой же я хороший. — Я вот, например, не понимаю зачем вы, коммунары, поете эти песни? Ну есть ничего, а есть... Что это за слова: "Когда-нибудь весенним утром ранним над океаном алые взметнутся паруса и скрипка пропоет над океаном"? Разве это не пошлость?» «Как ты не понимаешь? — возражала раскрасневшаяся и ставшая от этого еще прекраснее Надя. — Это же о мечте, о настоящем чувстве, том чувстве, которое противостоит всему костному, пустому, притворному вокруг». А может, она говорила не так, а может, что-то другое, главным в этих спорах и разговорах был не смысл, а обмен какими-то скрытыми смыслами, позволявшими определять «свой-чужой», «любит-не любит». Я старался ее развеселить, рассказывал смешные случаи из детства, убеждал, что фантастика тоже литература.

Быстро темнело, пошел снег, было так тепло и уютно под этим снегом, а вокруг лежала в сугробах огромная страна, готовая вот-вот взорваться. Мы шли уже по тропинке, а тропинка спустилась к реке, и вот уже виден Надин дом. «Я дойду, не провожай меня дальше. Увидимся завтра, там же, хорошо?» — «А...»

Нет, кораблем-то был я, а Надя — огромным айсбергом, белым. И где-то там, на капитанском мостике моего сознания, отдельные матросы кричали: «Осторожно! Стоп, машины!» Но инерция поступательного движения была столь велика, что меня качнуло вперед. Я получил пробоину и мои отсеки залило водой, один за другим. Теплые губы — раз, теплые губы — два, горячие губы — три!

Под ногами лед, под ним вода, то есть мы целовались не на земле, мы в каком-то смысле парили над замерзшей рекой.

И все, с тех пор мы появлялись всюду вместе, со всеми вытекающими «тили-тили» и «это моя девушка», я без всякого напряжения выучил все коммунарские песни, оживленно дискутировал, плясал, играл, прочитывал взахлеб все, что рекомендовала Надежда. Мы были полны ожиданий новой жизни, в стране происходили перемены, к концу подходили старшие классы, нас ждала взрослая, настоящая жизнь. И я готов был провести ее вместе с Надей. Концерты, собрания, диспуты, вечерние поцелуи — я просто питался этим с удовольствием и молодой жадностью.

А потом был день рождения еще одной активной коммунарки — Зины. У Зины была восточная внешность, Зина играла на гитаре, Зина пела, Зина говорила остроумно и метко, Зина была душой компании. Я увидел их рядом: тихая, спокойная, основательная Надежда и взрывная, непредсказуемая, оригинальная Зина. Я одновременно почувствовал себя и стариком («дурачина ты, простофиля»), и старухой («надоело мне быть царицей, хочу быть владычицей морскою, и чтобы золотая рыбка была у меня на посылках!»). Не понимаю, зачем вот эта игра чувств, химии, комплексов, гормонов внутри нас? Ну все же было хорошо! Зачем внутри вспыхивает что-то новое и гаснет старое? Когда старое уже проверено, уже сложилось. Сколько синиц придушено, чтобы побегать за журавлями? Это необъяснимо! «Чую с гибельным восторгом: пропадаю, пропадаю!»

На следующий день я признался Надежде, я не мог это хранить в себе, я не мог ей врать, я не пощадил ее. «Я больше не могу быть с тобой. Ты прекрасная, но я, кажется, полюбил другую». Такая вот пошлость. И она поняла (как мне казалось), и она улыбалась (а это стоило, ей, наверное, страшных усилий), и она отпустила. И скоро знали все. Не думаю, что она специально рассказывала, но это было видно, то мы все время вместе, а то отдельно. И хотя компания наша коммунарская ходила всюду дружно, мы уже не держались за руки, не провожались. Девчонки бросали презрительные взгляды и острые намеки. Я заметил, что среди коммунаров есть неплохие парни, и мы сдружились. Я чувствовал мужскую поддержку, а Наде сочувствовали все девушки.

Но я никогда не слышал от Нади ни слова упрека, ни жалобы, она всегда вела себя безупречно, мы оставались приятелями.

А дальше случилось естественное и страшное уже для меня. Я звонил Зине (ну понятно, в клубе не сильно поговоришь, все сразу станет ясно и заметно), я умолял о встрече. Она делала вид, что не понимает, зачем? «Ты хороший товарищ, мы еще споем вместе сто тысяч песен у десяти тысяч костров, но ты не мой близкий и единственный». Коммунары любили честность. Это их принцип. И еще был принцип: «Критикуешь — предлагай, предлагаешь — делай». Ну и Зина предложила: «Вернись к Наде, я помогу». Я чуть не сказал: «Дура». Ну я не мог тогда так сказать девушке, ни за что на свете. Я сказал не менее банальное: «Я буду ждать и надеяться, сколько потребуется». «Не стоит», — прозвучало в ответ.

Я вам не старуха из сказки, я не буду мириться со своей участью! Раз я этому миру не люб, пусть катится ко всем чертям! Вернее, оставайся, дорогая вселенная, со своими любимчиками, которым выпадают красивые и необыкновенные Зины, которых, вернее, эти Зины выбирают!

Мы жили с мамой вдвоем в комнате в общежитии. Она пришла слишком рано. Она сломала шпингалет на двери. Мама плакала, мама вызвала скорую. А я сидел над тазиком с теплой водой и резал бритвой вены. А вены никак не резались, и хотя кровь текла, но не так обильно, как хотелось бы. Впрочем, на самом

деле, я не хотел умирать, я хотел, чтобы меня пожалели и спасли. И Зина бы меня пожалела и спасла. Но спасла мама. А врач скорой сказал: «В следующий раз возьми большой толстый нож, чтобы наверняка и сразу в сердце». «Приходит время, С юга птицы прилетают, Люди головы теряют...»

Долго еще мучило меня, что моя первая взрослая любовь оказалась такой неидеальной, вернее, чувство-то было прекрасное, а вот я оказался каким-то неправильным, и повел себя пошло, глупо. А как было вести себя не пошло и не глупо? Нужно было молчать и делать вид, что ничего не произошло? А как выразить, когда внутри все болит, когда не знаешь как это выразить? Прости меня, Надя, прости, Зина, и, мама, прости.

И все-таки я вспоминаю то время и то чувство с теплом. Там, оттуда, из юности, бьет весеннее солнце в глаза, слышен смех наших коммунарских девчонок, и иногда сквозняк заносит хлопья снега, которые тут же тают, и ничего не остается, только мокрое место. Ах, да, еще изредка услышишь эти песни, где «скрипка поет над океаном», и улыбнешься, как дурак.

ИГРА В ВОЙНУ

Когда мы с женой взяли детей из интерната, их любимой игрой была «игра в тюрьму». Суть проста: один — охранник, другой — заключенный. Охранник охраняет, заключенный сидит. Охранник заставляет заключенного что-то делать, бьет заключенного палкой (тут понарошку часто переходили взаправду, и игра заканчивалась криками и жалобами). Иногда охранник куда-нибудь отлучался или делал вид, что отлучается, и тут задача заключенного — бежать. Задача охранника — догнать и наказать. Охранником почти всегда был старший Богдан, а заключенной — младшая Ангелина.

Мы предлагали детям разные альтернативные игры. Но долго, очень долго дети возвращались и возвращались к «тюрьме». Только спустя полгода стали забывать, на смену пришли более гуманные развлечения. А я вспоминал, во что играл в детстве.

Когда мы жили на окраине города, за рекой у Парка Победы, у нас был отдельный мир, отдельная компания. Девочек не было. Я помню на нашей улице троих, но все они были старше нас и жили какой-то своей отдельной жизнью. Братья Зайцевы, братья Карасёвы, Игорёк Фёдоров, мой двоюродный брат Сашка и маленький Славян.

В нашем распоряжении было пространство вокруг большого дедушкиного сарая на берегу Маймушки, небольшой лесок между нашим берегом и Шумовой поляной, вытянутый вдоль реки, ну и огромная огороженная проволокой территория вокруг радиовышки, тут были и поля, и сад диких яблонь, и густой черемуховый лесок вокруг пилорамы, множество одиноко стоящих берез и кустов боярышника.

Посторонние заглядывали сюда очень редко, эта территория формально была запретной, но мы были детьми и внуками работников радиовышки, и на наше присутствие смотрели сквозь пальцы. Думаю, мы в чем-то были даже полезны, в плане охраны территории (мы, кстати, это место так и называли: территория): если за сетку (проволоку, колючку) забирался посторонний или даже пьяная компания, мы немедленно докладывали взрослым (нам не нужны были чужаки).

Любимым различием в любое время года была игра «в войнушку». Делились на две команды, равные по силам (двое постарше могли оказаться против всех остальных). Каждый брал оружие (игрушечное или вырезанное из дерева, а на худой конец — сучковатую палку). Расходились по разным концам территории, или сарая, или леска вдоль берега. А потом шли навстречу друг другу. Имитировали как могли выстрелы, достигали виртуозности, все эти книжные «тра-та-та» и «тыдыщ» едва передадут наши способности пересмешников шума войны. Убитый выбывал из игры до следующего раунда.

Самое интересное — как определялся убитый. Да на глазок! Высунул полкорпуса из-за угла — «Убит!», напоролся в полный рост на автоматную очередь из-за кустов — «Убит!», не успел ответить на внезапно выпрыгнувшего противника — «Убит!» Тут, конечно, возникали споры: «Да я чуть высунулся», «Да ты меня не видел, ты наугад стрелял!», «Да я упал уже, пока ты

стрелять начал!», «Да я в тебя тоже выстрелил, так что мы оба трупы!» Честно-не честно, слово против слова. Так оттачивалось ораторское искусство, не нужны уроки риторики. Но, к нашей чести будет сказать, редко доходило до драки, всем было интересно победить в честном бою, без всяких сомнений, так что часто противники шли на благородное завершение спора «Ладно, пусть будет "ранил", но смотри, еще одно такое ранение, и ты — труп!», «Хорошо, оба, так оба», «Ну ладно, пусть будет спорный, расходимся».

Эта игра никогда не надоедала, могла длиться до бесконечности, если бы, конечно, не темнота, не крики: «Сережа, домой!» Только так, а не иначе. Перерывы на ужин или обед нас не волновали: «Мам, я не буду! Баб, я не хочу». Ну, в крайнем случае, кто-то убежал на пять минут домой и возвращался с черным хлебом, поверх которого было намазано толстым слоем масло и густо посыпано сахаром, иногда вместо масла варенье. Полдюжины ртов в мгновение ока уничтожали бутерброд. Какая это была вкуснятина! Передать невозможно.

Вариантом игры «в войнушку» были «мушкетеры». Показывали в очередной раз сагу про Д'Артаньяна, и все принимались ломать молодые клены, чтобы получилась хорошенькая шпага, а со стороны руки на палку надевалась пластмассовая крышка, в середине которой прорезалось отверстие. С утра до вечера шли фехтовальные схватки. Тут уж было понятно кто кого, когда конец палки больно втыкался в грудь или сабельный удар полосовал по плечу.

Игра «в войнушку» перешла в совершенно новую стадию, когда кто-то принес откуда-то идею самострела. Часами мы выпиливали это похожее на маленькую винтовку оружие, где-то ближе к прикладу вбивали гвоздь, потом плоскогубцами вокруг гвоздя с двух сторон свивали алюминиевую проволоку, создавая одновременно держатель для пулек и спусковой механизм. Из резинок от трусов вырезали маленькие желтенькие резиночки, которые натягивали на ствол самострела, наподобие резинки на рогатке. А потом еще несколько часов делали пульки — маленькие галочки из алюминиевой проволоки. Тут уж всякие споры исключались, если такая пулька прилетала метров с тридцати, да по голому телу, убитого выдавал отчаянный крик. Одежда, конечно,

защищала, но никто ведь не прятал лицо. А по лицу прилетало, ведь точность даже самых идеальных самострелов оставляла желать лучшего. Поэтому одно из правил такой «войны» гласило: нельзя специально целиться в лицо.

Я помню это волнующее, приятное чувство, когда сидишь в кустах, солнце падает на все красивыми пятнами, ты знаешь, что спрятался очень хорошо, что противник никогда тебя не заметит первым. Стрекогут кузнечики и цикады. Где-то шумит река, работает пила. Бабочка близко, почти перед глазами, медленно раскрывает и складывает крылья. От нечего делать срываешь сурепку (такое растение с толстым плотным стеблем), отламываешь этот стебель, медленно счищаешь с него кожицу, кладешь на язык, хрустишь. По вкусу напоминает редиску. Убиваешь комара и долго смотришь на его разможенное тело с множеством тонких лапок, крылышек и хоботком. И думаешь: «Если бы я был комаром, я бы не действовал так глупо и настырно». И тут сзади звучит обидное: «Руки вверх!» Ты резко поворачиваешься и получаешь пулю в плечо.

Или вы преследуете последнего противника. Он засел в какой-то яме и отстреливается часто и метко, из чего можно сделать вывод, что «патронов» у него дофига. А у вас на троих осталось совсем немного. Друг отсыпает тебе небольшую горсть. И ты радуешься, что у тебя вот есть такой настоящий друг, который не пожалеет тебе последнее. Ты высовываешь голову из укрытия, и вражеская пуля со скользом прилетает в кепку. Не смертельно. И как тут не метиться в голову, если одна голова последнего вражеского бойца и видна. Мы расползаемся и окружаем врага. Мы медленно сжимаем кольцо. А потом атака. Потому что другого способа нет. И обороняющийся успеваеет убить только одного из вас, а двое других побеждают. А потом еще долго вспоминаются подробности удачного боя.

Один бой мог длиться от нескольких минут до получаса. На территории команды могли долго искать друг друга. Старшие вообще могли пропускать мимо себя малышей, давясь от смеха в каком-нибудь укрытии. И какое удовольствие было захватить в плен врага и выведывать у него, где находятся остальные противники. Я помню, как поймали моего двоюродного брата

Сашку. Он был в другой команде. Был ранен пулькой в ногу. Сдавать своих не хотел ни в какую. Кто-то в упор выстрелил ему в щеку. Я помню Сашкины слезы в глазах, отметину в виде математического знака «больше» и его гордый вид: он не сдал своих, а сказал: «Врагу не сдаётся наш гордый "Варяг"». После этого случая я продолжал играть, но игра постепенно стала терять свой вкус. Мне стало жаль тех, кого я убиваю. Убивать живого человека, даже понарошку, стало грустно. Но я все равно играл, потому что другой такой общей и захватывающей игры не было.

Мне кажется, нет загадки, откуда взялись жестокость и психология девяностых. Оттуда, из детства — детства, которое воспитывалось на фильмах о войне, от детей, которым нужна была война, потому что внушали: есть классовый враг, он обязательно придет на твою землю, или тебе придется освободить другие страны от этого классового врага. Нас так воспитали, что нам нужна была эта война всех против всех.